



Кукуша

Глаз голубя

Кукуша Кукуша

Глаз голубя

<https://litres.ru/74096486>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он был величайшим экспертом в мире искусства. Никита Грозный мог отличить Рембрандта от подделки, взглянув на холст, — и чувствовал дрожь кисти мастера там, где другие видели только краску. Но однажды его дар исчез. Глаз, который сорок лет был калибром, превратился в пустоту. Тогда он нашел заметку о голубях, которые видят рак на рентгеновских снимках, и понял: если птицы могут различать жизнь и смерть, они увидят правду в искусстве.

Он умер, оставив секрет внуку Левке — балбесу и неудачнику. Но именно ему предстояло продолжить дело деда. Война с аферистами, угрозы, бегство — и наконец, школа на Крымском Валу, где голуби учат людей видеть правду.

«Глаз голубя» — роман о том, как человек, потерявший всё, обретает путь в белых крыльях стаи. О том, что правда всегда побеждает, даже когда мир состоит из подделок. И о том, что истина живет не в книгах, а в глазах птицы, смотрящей на тебя с высоты вековой мудрости.

История о глазах, которые не лгут. О голубях, которые видят сквозь века.

Кукуша

Глаз голубя

Глава первая. Глаз голубя

Посвящается тем, кто умел видеть невидимое, пока не ослеп от правды.

Пролог

Говорят, что, правда, в глазах смотрящего. Но это неправда. Правда в глазах того, кто смотрит не на картину, а сквозь нее — сквозь слои краски, сквозь века, сквозь ложь. Правда, в глазах голубя.

Москва встречала его запахом бензина, прелых листьев и приближающейся зимы. Сорок лет работы — и вот он стоял на Крымском Валу, смотрел на серое небо и чувствовал, как внутри него, там, где когда-то жил огонь, теперь зияет пустота. Он перестал видеть. Перестал чувствовать. Перестал быть тем, кем был всю жизнь.

Никита Соломонович Грозный — имя, которое заставляло дрожать коллекционеров и бледнеть аферистов, — теперь просто старик с уставшими глазами. Он смотрел на мир и видел только слои. Только пигменты. Только химию. Он смотрел на картину и не слышал голоса художника. Он смотрел на холст и не чувствовал дрожания кисти. Он смотрел на подделку и не мог отличить ее от оригинала. Его глаз — тот самый глаз, который сорок лет был калибром, — превратил-

ся в обычный орган. Химическую лабораторию. Пустоту.

Он стоял у окна своей голубятни, смотрел на Москву, которая кипела, жила, дышала, и думал о конце. О том, что все когда-нибудь заканчивается. О том, что даже великий Грозный умирает.

Но где-то в глубине его души, там, где прятались последние искры угасающего огня, теплилась мысль. Мысль, которую он считал безумной. Мысль, которую он гнал от себя, но которая возвращалась снова и снова.

Голуби.

Он вспомнил заметку. Ту самую, которую прочитал полгода назад, когда еще искал ответы на свои вопросы. Ученые из Колледжа Святого Креста в Вустере. Голуби, которые научились видеть рак на рентгеновских снимках. Птицы, которые замечали то, чего не замечали врачи. Птицы, чья зрительная система работала так же, как бессознательная часть человеческого зрения.

— Если они видят рак, — прошептал он, — значит, они могут видеть правду. Правду, которую я потерял.

Он подошел к столу, открыл старую кожаную папку, начал писать. Писать о голубях. Писать о своих планах. Писать о секрете, который он должен передать тому, кто продолжит его дело.

«Дорогой будущий хранитель стаи, — писал он. — Если ты читаешь это, значит, меня уже нет. Или я слишком стар. Но я должен рассказать тебе одну вещь. Голуби —

это не просто птицы. Это глаза. Это правда. Это то, что остается, когда все остальное исчезает. Научись видеть их глазами. Научись слушать их. Научись доверять им. И тогда ты сможешь увидеть правду. Ту самую правду, которую я потерял».

Он отложил ручку, посмотрел на голубей, которые ворковали на насестах, и улыбнулся. В этой улыбке была надежда. Надежда, что он не умрет зря. Надежда, что его дело продолжится.

— Я оставлю вам секрет, — сказал он птицам. — Я оставлю вам правду. И однажды кто-то придет, кто поймет вас. Кто продолжит мое дело.

Он закрыл папку, спрятал ее в старый шкаф, и вышел из голубятни. На улице его ждал холодный осенний ветер. Москва жила своей жизнью, не зная, что здесь, на Крымском Валу, происходит чудо. Чудо, которое изменит все.

Но Никита Соломонович знал. Он знал, что правда не умирает. Она просто ждет своего часа.

И этот час настанет.

Сорок лет спустя.

Москва изменилась. Выросли новые дома, появились новые дороги, но Крымский Вал остался прежним. И голубятня стояла на том же месте, только теперь она называлась иначе. «Школа правды. Центр экспертизы имени Никиты Соломоновича Грозного».

Над входом висела вывеска, и под ней стоял человек. Молодой, длинный, тощий, с голубем на плече. Он смотрел на вывеску и улыбался.

— Мы сделали это, дед, — прошептал Левка. — Мы сделали это, Никита Соломонович. Мы создали место, где правда живет. Где она учится, растет, передается дальше. Ты был прав. Правда не умирает. Она просто ждет своего часа.

Он вошел в школу, закрыл дверь, и голуби закружили над его головой, белые, чистые, свободные. И в этом кружении была та самая правда, которую он искал всю жизнь. Правда, которую оставил ему дед. Правда, которую он теперь передаст другим.

Правда, в глазах голубя.

Начало.

В тот день Никита Соломонович Грозный стоял перед картиной и ничего не чувствовал.

Это было странное ощущение — пустота внутри черепа, там, где обычно гудела, переливалась, пульсировала сложная симфония пигментов, связующих, кракелюров и вековых наслоений. Он смотрел на холст — большой, торжественный, с тяжеловесной позолотой рамы, — и видел только краску. Просто краску. Синюю, желтую, чуть тронутую охрой. Химию. Больше ничего.

— Никита Соломонович? — голос за спиной дрожал от подобострастия, от той особенной почтительности, которой в мире искусства сопровождают имя Грозного. — Ваше за-

ключение... мы все ждем. Это ведь он? Это точно он?

Грозный молчал. Он слышал, как за его спиной дышат четыре человека — коллекционер, его адвокат, два эксперта из Швейцарии, прилетевшие специально, чтобы увидеть, как живой бог атрибуции вынесет приговор. Они ждали слова. Они жаждали его, как жаждут воды в пустыне. Слово Грозного могло превратить холст в тридцать миллионов евро или в ноль. В золото или в тряпку.

— Это не Караваджо, — сказал, наконец, Никита Соломонович.

В комнате стало тихо. Так тихо, что он услышал, как за окном, на карнизе, воркует голубь. Противный, наглый, серый городской голубь. Он ворковал настойчиво, требовательно, будто хотел что-то сказать. Никита Соломонович вдруг почувствовал странное раздражение. При чем здесь голубь? При чем здесь эта дурацкая птица, когда он произносит приговор, который перевернет жизнь четырех человек?

— Но как же... — начал коллекционер. — Вы же сами...

— Это работа современника, — перебил Грозный, и голос его звучал ровно, без эмоций. — Написана в Неаполе, около 1607 года. Через два года после смерти Караваджо. Затертая, переписанная, перегрунтованная в восемнадцатом веке. — Он указал пальцем на левый нижний угол. — Посмотрите сюда. Видите эту тонкую полосу? Это не кракелюр. Это след от перекладки на новый подрамник. Подделыватель в восемнадцатом веке хотел выдать это за работу мастера, но

он не знал, что свинцовые белила, которые использовал настоящий Караваджо, при взаимодействии с серой в неаполитанском грунте дают именно такую реакцию. А здесь — другой пигмент. Более поздний.

Он говорил, и слова текли из него, как вода из прорванной плотины, но сам он не чувствовал привычного удовлетворения. Не было того холодного торжества, которое обычно наполняло его грудь, когда он уличал фальшивку. Не было.

Потому что он видел. Все видел. И пигмент, и грунт, и перекладку, и эту дурацкую полосу. Но он не *чувствовал*.

Раньше, сорок лет назад, когда он только начинал, когда его еще не звали Грозным, когда он был просто Никитой, аспирантом с горящими глазами, — раньше он смотрел на картину и *слышал* голос художника. Он видел, как дрожала кисть в углу холста за секунду до того, как краска начала сохнуть. Он чувствовал, торопился ли мастер, или был спокоен; думал ли о хлебе на ужин, или о вечности.

Теперь он смотрел на полотно и видел только структуру. Только химию. Только слои. словно смотрел на труп, а не на человека, который когда-то жил, дышал, любил, мучился.

— Вы уверены? — прошептал коллекционер. Лицо у него было белое, как грунтованный холст.

— Абсолютно, — ответил Грозный, и это была правда.

Но внутри, там, где раньше гудела вселенная искусства, теперь зияла пустота.

Он ушел из особняка на Патриарших прудах, не попрощавшись. Не потому, что был груб, — он никогда не был груб с заказчиками, — а потому, что не мог больше выносить этот запах. Запах старых картин, запах лака, запах надежды и разочарования. Ему казалось, что он пропитался этим запахом насквозь, что он сам теперь — старая картина с потрескавшимся слоем, которую пора отреставрировать, а лучше — выбросить.

Он шел по Тверской и смотрел на прохожих. На их лица. На движения. И вдруг понял: они для него — тоже картины. Он смотрит на женщину в красном пальто и видит не человека, а композицию: вертикаль фигуры, цветное пятно на сером фоне, фактуру ткани. На мужчину с портфелем — и раскладывает его на слои: усталость в глазах, напряжение в плечах, ранняя седина. Он не может остановиться. Он смотрит на мир и видит только структуру. Только слои. Только пигменты и связующие.

И ничего больше.

Голубь на карнизе ворковал, настойчиво, требовательно. Грозный поднял голову. Птица смотрела на него блестящим, круглым, непроницаемым глазом, и в этом взгляде было что-то древнее, что-то, что он не мог прочитать. Голубь не был картиной. Голубь был живым. И его глаз — этот блестящий, переливчатый, странный глаз — видел что-то, чего не видел Грозный.

Глупости, подумал он. Просто глупости. У меня пере-

утомление. Я слишком много работал. Надо отдохнуть.

Но отдых не помогал. Он взял паузу — полгода, как советовали врачи. Уехал в Тверскую область, в дом, который купил еще в девяностые, когда появились первые большие деньги. Дом стоял на берегу озера, заросшего камышом, с видом на старую церковь. Красивое место. Он смотрел на озеро, на церковь, на облака — и видел композицию. Слои. Тени. Полутона. *Господи*, думал он, *я не могу даже просто посмотреть на воду. Я всегда вижу только холст.*

Читал. Много читал. Научные труды. Журналы. Статьи. Сначала про зрение — анатомию, физиологию, оптику. Потом про мозг — нейроны, синапсы, зрительную кору. Потом про старение — про то, как с годами меняется восприятие, как хрусталик мутнеет, как снижается острота, как уходит цветоощущение.

Он купил себе книги по офтальмологии. Выписал немецкие журналы, французские, американские. Читал ночами, при свете зеленой лампы, как когда-то, в юности, читал про Рембрандта и Вермеера.

И однажды, где-то на третьем месяце этого затворничества, он наткнулся на заметку.

Маленькая, скупую, на три абзаца. В журнале *Nature Neuroscience*. Про голубей. Про каких-то ученых из Колледжа Святого Креста в Вустере. Про то, как они обучили птиц находить на рентгеновских снимках легких раковые узелки.

Никита Соломонович перечитал заметку раз. Потом вто-

рой. Потом — в который раз — третий.

Он сидел за столом, в доме у озера, и смотрел на страницу. А потом перевел взгляд на окно. Там, на подоконнике, сидел голубь. Обычный голубь. Серый, с переливающейся шеей, с блестящим, круглым, всевидящим глазом.

— Ты смотришь, — тихо сказал Грозный. — Ты смотришь на мир иначе, чем я. Ты видишь не картину. Ты видишь... что? Что ты видишь?

Голубь наклонил голову. Посмотрел на него — сбоку, странно, будто прицеливаясь. И что-то щелкнуло у Никиты Соломоновича в голове.

Они обучили голубей видеть рак, — подумал он. — Рак на снимках. Там, где человек пропускает три случая из десяти. Потому что человек смотрит сознательно. А голубь — бессознательно. Как я когда-то смотрел на картины. Я видел то, чего не видели другие. Я видел ошибку гения. Я чувствовал подделку нутром. А теперь — я вижу только слои. Только пигменты. Только химию. Я ослеп, потому что мой разум заслонил глаза. А голуби...

Он встал. Книга упала на пол, раскрывшись на той самой странице. Грозный не заметил. Он смотрел на голубя, и в груди его, там, где была пустота, начинало что-то шевелиться. Что-то темное, липкое, опасное. Идея.

— Если голуби видят рак на снимках, — прошептал он, и голос его дрожал, как у юноши, впервые увидевшего обнаженную женщину, — если они видят то, чего не видят вра-

чи... то почему они не могут видеть подделку? Почему они не могут видеть то, чего не вижу я? Пигменты, слои, кракелюры, перегрунтовки... если их обучить... если их дрессировать, как тех голубей из Вустера... если они увидят тысячу Рембрандтов и тысячу подделок...

Он засмеялся. Сначала тихо, потом громче, истеричнее. Голубь на подоконнике встрепелся, взлетел, закружил над озером. А Никита Соломонович стоял у окна и смеялся — впервые за много месяцев.

— Глупость, — сказал он себе. — Идиотская, безумная глупость. Я — Грозный. Я — лучший эксперт в мире. И я собираюсь заменить себя голубями?

Но глаза его горели. Горели тем же огнем, что и сорок лет назад, когда он впервые увидел настоящего Рембрандта и понял, что будет посвящать этому жизнь.

Он вышел на крыльцо. Смотрел на озеро, на церковь, на небо. И не видел композицию. Впервые за полгода он смотрел на мир и видел мир. Просто мир. Без слоев. Без пигментов. Без истории материалов.

Но в голове у него уже шуршали, перебирали перьями, ворковали и клевали зерна десятки, сотни, тысячи голубей. И каждый из них смотрел на полотно круглым, блестящим, всевидящим глазом, видел то, чего не видел больше Грозный.

Вот так, думал он. Вот так, Никита Соломонович. Ты потерял глаз, но ты нашел стаю.

Он засмеялся снова. Голуби над озером взмыли вверх, и тени их заскользили по воде, как мазки на старом холсте.

Через месяц он купил голубятню. В центре Москвы. На Крымском Валу, рядом с Третьяковкой. Дорого, очень дорого. Но у Грозного были деньги. Сорок лет работы лучшим экспертом в мире — это не только слава, но и счета, которые позволяют купить голубятню в центре Москвы.

Он зарегистрировал ее как частный питомник. Сказал всем — коллегам, друзьям, журналистам, которые звонили каждый день, — что уходит. Что устал. Что хочет покоя. Что теперь его жизнь — это голуби. Только голуби. Никаких картин. Никаких экспертиз. Только птицы, зерно, чистые клетки и тишина.

Коллеги качали головами. Шептались. Говорили, что Грозный сошел с ума. Что старый пердун наконец-то дал трещину. Что все эти годы он был слишком жесток, слишком бескомпромиссен, и теперь расплачивается. Журналисты писали статьи: «Глаз, который видел сквозь века, ослеп». «Грозный ушел в птицы». «Скандал в мире искусства: лучший эксперт сдал позиции».

Но никто не знал правды. Никто не знал, что по ночам, когда голубятня затихала, Никита Соломонович сидел в своем кабинете и читал. Письма ученым из Вустера. Статьи по орнитологии. Труды по когнитивной психологии. Методики дрессировки. Он писал письма, звонил, летал в Лондон, в

Париж, в Бостон. Встречался в ресторанах, в банях, в гостиничных номерах. Платил. Убеждал. Просил. И постепенно, шаг за шагом, собирал информацию.

— Можно ли обучить голубя отличать картину старых мастеров от подделки? — спрашивал он у профессора орнитологии из Кембриджа, с которым встретился в сауне «Сандэвские бани».

Профессор отхлебывал пиво, смотрел на Грозного мутными глазами и кивал:

— Теоретически... почему нет? Зрительная система голубя — одна из самых совершенных в природе. Они видят ультрафиолет. Они видят движение, которое недоступно человеку. Они замечают мельчайшие различия в текстуре. Если вы научите их различать рак на рентгеновских снимках, вы научите их различать что угодно. Вопрос в методике. В системе поощрений. В объеме выборки.

— Я дам тысячу образцов, — сказал Грозный. — Тысячу настоящих картин. Тысячу подделок. Всех эпох. Семнадцатый век, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый. Голландцы, итальянцы, французы, русские. Рембрандт, Караваджо, Вермеер, Тициан, Брюллов, Репин. Я дам им все. Они увидят все.

Профессор присвистнул.

— Это будет стоить безумных денег.

— У меня есть безумные деньги, — усмехнулся Грозный. — У меня есть сорок лет работы. И есть пустота внутри, ко-

торую я должен заполнить.

Он не сказал профессору главного. Не сказал, что он, Никита Соломонович Грозный, потерял дар. Что он больше не чувствует подделку. Что его глаз, который сорок лет был калибром, теперь — просто орган. Химическая лаборатория, а не храм искусства.

Он не сказал, что голуби — это его последняя надежда. Что если они не увидят, не почувствуют, не разделят правду и ложь, то он останется один на один с пустотой до конца своих дней.

Вместо этого он купил голубей. Лучших. Породистых, с блестящим оперением, с круглыми, ясными, всевидящими глазами. Он давал им имена: Рембрандт, Вермеер, Караваджо, Босх. Он баловал их зерном, гладил по голове, разговаривал с ними ночами, когда в голубятне пахло теплом и перьями.

— Вы мои глаза, — шептал он. — Вы мои новые глаза. Вы увидите то, чего не вижу я. Вы спасете меня.

А через год, когда к нему пришли специалисты из Третьяковской галереи, когда они принесли картину, которую хотели купить за огромные деньги, когда они смотрели на него с надеждой — Никита Соломонович улыбнулся.

— Я посмотрю, — сказал он.

Он не смотрел на картину. Он смотрел на голубей. Восемь птиц сидели на насестах, наклоняли головы, сверкали круглыми, блестящими глазами.

— Ну? — прошептал Грозный. — Что вы видите?

Он вынес кормушку. Насыпал зерна. Голуби заворковали, засуетились. И Никита Соломонович знал: если они клюют — значит, картина настоящая. Если нет — подделка.

Они клюнули.

Но не все.

Три голубя клюнули. Пять — нет.

Грозный смотрел на них, и внутри, там, где была пустота, начало что-то расти. Что-то темное, тяжелое, неумолимое. Пять против трех. Большинство против меньшинства.

Подделка, понял он. Тысячи лет истории, миллионы долларов, сорок лет моей работы — и пять голубей говорят, что это подделка.

Он повернулся к специалистам из Третьяковки, и лицо его было спокойным, как у покойника.

— Картина поддельная, — сказал он. — Не берите.

Они не поверили сначала. Провели экспертизу, спектральный анализ, рентген. Все подтвердилось. Подделка. Блестящая, почти идеальная, но подделка.

Никита Соломонович Грозный не сказал им правды. Не сказал, что это не он увидел. Что это сделали птицы. Он молчал. Он хранил этот секрет так же, как когда-то хранил секрет своего зрения. Он приносил голубям зерно, гладил их по голове, называл Рембрандтом и Вермеером, а по ночам сидел в пустом кабинете и смотрел на пустые стены, на которых больше не было картин.

Он знал: скоро его не станет. Сердце болело все чаще, дыхание становилось короче, и он чувствовал — время уходит, как краска с холста, как связующее из грунта, как жизнь из старого, пересохшего тела.

И тогда он позвал внука.

Внук был балбесом. Длинный, тощий, с вечно красными глазами, пахло от него травой и молодостью. Он пришел в голубятню, посвистывал, крутил головой, не понимал, зачем дед, великий Грозный, поселился среди голубей.

— Садись, — сказал Никита Соломонович. — Слушай.

И он рассказал все. Про глаз, который ослеп. Про пустоту внутри. Про заметку в журнале. Про голубей, обученных видеть рак. Про свои ночные поездки, встречи, консультации. Про то, как он дрессировал птиц. Про то, как они научились отличать Рембрандта от подделки, Караваджо от копии, Вермеера от фальшивки.

— Ты думаешь, я сошел с ума, — сказал Грозный.

— Я думаю... — внук запнулся. — Я думаю, это безумие, дед. Голуби? Seriously? Кто в это поверит?

— Никто. Поэтому ты будешь молчать. До моей смерти. А после — делай что хочешь. Продай секрет. Или храни. Или используй. Я не знаю. Я старый, я устал, я ничего не знаю.

Он встал, подошел к насесту, погладил голубя по голове. Тот заворковал, зажмурился от удовольствия.

— Они мои глаза, — сказал Грозный. — Мои новые глаза.

Они видели то, чего не видел я. Они спасли меня. А теперь я спасу их. Оставлю им секрет. И тебе.

Он умер через месяц. Во сне. Тихо, спокойно, без боли. Голуби в голубятне ворковали всю ночь, а утром, когда внук пришел проведать деда, он застал только холодное тело и пустую клетку.

Рембрандта не было. Вермеера не было. Караваджо улетел.

Все птицы улетели.

Внук стоял у распахнутой клетки, смотрел на небо, и в голове его шуршали, перебирали перьями, ворковали голоса. Тысячи голосов. Тысячи глаз.

Продай секрет, — шептал голос деда в его голове. — Продай его тому, кто заплатит. Или храни. Я не знаю. Я старый, я устал, я ничего не знаю.

Внук засмеялся. Сначала тихо, потом громче, истеричнее. Он стоял в пустой голубятне, пахло перьями и смертью, а в голове у него уже роились планы, расчеты, сделки.

Он продаст секрет. Он продаст его дорого. Тому, кто сможет использовать. Тому, кто сможет стать новым Грозным — без глаза, но со стаей.

Внук усмехнулся. Надо было придумать, как поймать голубей. Тех самых. Рембрандта, Вермеера, Караваджо. Они где-то там, над Москвой, кружат, смотрят своими всевидящими глазами на людей, на машины, на картины в Третьяковке, на подделки в частных коллекциях.

Они смотрят на мир иначе. Они видят правду.

А внук будет торговать правдой.

Вот так, дед, подумал он. Вот так, Никита Соломонович. Ты подарил мне стаю. А я подарю миру новых экспертов. Тех, кто не умеет видеть, но умеет платить.

Он вышел из голубятни, захлопнул дверь, и пошел по Москве — длинный, тощий, с горящими глазами, которые еще не знали, что секрет, который он продаст, принесет ему не только деньги, но и проклятие.

Ибо тот, кто торгует голубиным глазом, однажды увидит мир глазами голубя. И это зрение — оно страшнее любых подделок. Оно видит правду. Всю правду. До дна.

А правда, как известно, не всегда бывает красивой. Иногда она просто серая, воркующая, с блестящим, круглым, всевидящим глазом.

Глава вторая. Балбес и его стая

Говорят, что голуби помнят дорогу домой за тысячи верст. Но никто не говорил, что они помнят дорогу к правде.

Внука звали Левка.

Левка Грозный — имя, которое должно было звучать громко, но звучало как-то по-детски, легкомысленно, как будто сам воздух Москвы не желал признавать в этом длинном, вечно помятом парне наследника великой фамилии. Никита Соломонович, отец его матери, всегда называл Левку просто «балбес», и слово это прилипло к парню лучше всякого ярлыка, определяя его суть.

Левка и правда был балбесом.

В двадцать семь лет он не закончил ни одного института, трижды вылетал из Суриковского, дважды — из академии имени Строганова, один раз, по пьяни, пытался поступить в философский, но забыл принести документы. Он рисовал, но рисовал плохо, как рисуют все балбесы с претензией на гениальность: широко, пафосно, без умения, зато с вдохновением. Он знал десятки имен великих художников, мог отличить Матисса от Дерена, с закрытыми глазами перечислить все периоды Пикассо, но это знание было поверхностным, как лак на дешевой подделке: блестит, но если поскрести ногтем — под ним пустота.

И пустота эта, как ни странно, была главной причиной, почему дед выбрал именно его.

Выбрал его, а не кого-то из более талантливых и способных. Выбрал именно Левку — рыхлого, горе-художника, лодыря и мечтателя, потому что Никита Соломонович знал главное: талантливые люди слишком сильно любят искусство, чтобы продавать его секреты. А Левка — балбес. Балбес продаст все. И дешево. И дорого. И с песней, и с пляской, и с той особенной наглой улыбочкой, которая делала его одновременно невыносимым и бесконечно обаятельным.

— Я все понял, дед, — сказал Левка, стоя над остывающим телом Никиты Соломоновича в той самой голубятне, где пахло перьями, зерном и внезапной пустотой. — Ты гений. Птицы — тоже гении. А я — тот самый дурак, который

все это продаст и уедет на Багамы. Спасибо, дед.

Он перекрестился — неловко, сбивчиво, как крестятся люди, которые делают это раз в пять лет — и вышел.

Голуби, которых он не успел поймать, кружились над Крымским Валом. Их было пятеро. Рембрандт, Вермеер, Караваджо, Босх и еще один — безымянный, серый, похожий на всех голубей мира, которого Левка так и не удосужился назвать. Птицы улетели в тот день, когда умер Никита Соломонович, и теперь жили где-то в Москве, на крышах, карнизах, чердаках, смотрели на людей своими круглыми, всевидящими глазами и, наверное, ждали, когда внук балбес их позовет.

Но Левка не звал.

У него были другие планы.

Первые два месяца после смерти деда Левка жил на широкую ногу.

Деньги у Никиты Соломоновича были — и немаленькие. Несмотря на то, что Грозный последние годы тратил безумные суммы на голубей, поездки, консультации и взятки ученым, осталось достаточно. Левка снял квартиру на Патриарших, купил новую машину — не шикарную, но звонкую, черный «Мерседес» с тонированными стеклами, — завел себе девушку, точнее, двух девушек, которые менялись с регулярностью картин в музее, и начал вращаться в тусовке.

Тусовка была странная — наполовину художники, напо-

ловину антиквары, наполовину люди, которые называли себя коллекционерами, но на самом деле просто покупали все, что блестит и висит на стене. Они пили дорогой коньяк в подвальных галереях, ругали современное искусство, говорили о Бэнкси, о рынке, о ценах. Левка чувствовал себя своим. Он был балбесом, но балбесом из хорошей семьи, с громкой фамилией, и эта фамилия открывала двери, которые для других были закрыты.

— Лев Николаевич, — говорили ему, — ваш дед был великим человеком. Его глаз — легенда. Мы все скорбим.

Левка кивал, делал скорбное лицо и думал о голубях.

Он не продавал секрет. Пока не продавал. Что-то останавливало его: то ли странный страх, что ему не поверят, то ли детская обида на деда, который оставил ему не деньги, а стаю птиц, то ли просто лень — самая главная черта балбеса.

Но однажды все изменилось.

Это случилось в конце сентября, когда Москва накрылась серым, тяжелым небом, похожим на плохо загрунтованный холст. Левка сидел в «Гоголь-баре» с двумя антикварами — братьями Ефимовыми, — и они втюхивали ему историю про какую-то картину.

— Слушай, Лева, — сказал старший, Михаил Ефимов, толстый красномордый мужчина с перстнем на мизинце. — Твой дед на старости лет нашел залежь полотен в Питере. Есть информация. Там настоящий клад. Несколько работ

учеников Рембрандта. Очень хороших, очень качественных. Мы хотим купить, но нужно заключение. Экспертиза. Пони-
маешь?

Левка сделал глоток коньяка и уставился в потолок.

— Какая экспертиза? Дед умер.

— Умер, — согласился Ефимов. — Но остался ты. Его внук. Ты же много у него учился? Ты же в Суриковском... ну, учился хоть немного? Ты мог бы оценить. По-родственному. Нам для общего понимания. Мы же не за бесплатно, Лева, мы за спасибо. И за долю.

Левка знал, что братья Ефимовы — аферисты. Все в ту-
совке это знали. Торговали подделками, выдавали копии за
оригиналы, скупали за бесценок и продавали за дорого. Но
они были обаятельными, щедрыми и платили наличными, а
Левка любил наличные.

— А что за картины? — спросил он.

— Один этюд ученика Рембрандта, — начал перечислять
Ефимов. — Скорее всего, Фердинанда Бола. Хорошая ра-
бота, но сомнительная. Еще один набросок, приписываемый
Говерту Флинку. И главное — портрет неизвестного, кото-
рый выдают за работу самого Рембрандта, но, скорее всего,
это его школа, хорошая школа, золотая, но не он.

— Дорого?

— Очень. Особенно если подтвердить, что это хотя бы
школа. Мы продаем в Швейцарию. Там любят голландцев.
Любят все, что связано с Рембрандтом. Даже простое упо-

минание его имени поднимает цену в десять раз.

Левка допил коньяк и заказал еще.

— Что мне за это будет? — спросил он.

— Десять процентов, — сказал младший Ефимов, Илья, худой, с острыми скулами и запавшими глазами. — Двадцать, если убедишь швейцарцев, что это не просто школа, а атрибутированный Бол. Ты же Грозный, Лева. Твое имя стоит денег.

Левка посмотрел на свои руки. Длинные пальцы, как у деда. Только у деда эти пальцы держали кисть и смотрели на картину с такой любовью, что холст будто оживал. А у Левки пальцы держали только сигарету и стакан.

— Я подумаю, — сказал он.

Он думал три дня.

Три дня ходил по Москве, смотрел на голубей, на крышах, вспоминал деда, его последние слова, его голубятню, его безумную идею. Вспоминал, как дед кормил голубей зерном и говорил: «Они мои глаза». Вспоминал, как дед умер, а голуби улетели.

И в какой-то момент, уже под утро, когда он сидел на балконе своей квартиры на Патриарших и смотрел на серое небо, он понял: дед дал ему секрет не для того, чтобы продать его как товар. Дед дал ему секрет, чтобы *использовать*. Чтобы Левка тоже стал экспертом — без голубей, но с голубями. Чтобы Левка заменил деда в этом мире, где все подделка, а правда никому не нужна.

— А ведь можно, — сказал он вслух. — Можно взять птиц, показать им картины, понять, что они увидят. Я же знаю их имена. Я знаю, где они живут. Я могу их позвать. Дедушка говорил, что голуби помнят. Они вернуться.

Он не знал, вернуться ли. Но он знал другое: если он сейчас не попробует, то всю оставшуюся жизнь будет балбесом. Просто балбесом с фамилией Грозный. А он хотел большего. Хотел, чтобы его тоже называли Грозным — великим, ужасным, неподкупным. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы на одну маленькую сделку.

Он нашел птиц через неделю.

Они жили на колокольне церкви Святителя Николая на Берсеневке, недалеко от Крымского Вала. Пять штук — Рембрандт, Вермеер, Караваджо, Босх и безымянный серый. Они сидели на карнизе, наклоняли головы, смотрели на Левку своими блестящими, круглыми глазами.

— Эй, — сказал Левка. — Я вас помню. Вы — птицы моего деда. Я — Левка. Я, короче, ваш новый хозяин. Если хотите, конечно. Если нет — летите, я не обижусь.

Голуби не улетали. Они смотрели на него, ворковали, перебирали перьями. И Левка понял: они его узнали. Они помнили дедовский запах, дедовские руки, дедов голос. И теперь они готовы были слушать внука.

— У меня есть работа, — сказал Левка. — Картины. Их надо проверить. Вы умеете проверять? Дедушка вас научил?

Он не знал, понимают ли они слова. Но он надеялся. Он

высыпал на карниз горсть пшена, и голуби набросились на него, воркуя, клюя, перебирая лапками.

Они клюнули.

Все.

Рембрандт, Вермеер, Караваджо, Босх, безымянный серый — все они клевали пшено. И это значило только одно: они согласны. Они готовы работать.

Левка улыбнулся.

— Тогда полетели, — сказал он. — Работать, птички. Работать.

Встреча с братьями Ефимовыми состоялась через два дня, в подвальной галерее на Арбате.

Левка пришел с двумя клетками, в которых сидели Рембрандт и Вермеер. Остальных птиц он оставил в такси, в специально арендованном для этого фургоне. В клетках было темно, и голуби вели себя тихо, только изредка ворковали, когда Левка постукивал по прутьям пальцами.

— Ты что, с голубями? — удивился Михаил Ефимов. — Ты серьезно?

— Это мои помощники, — серьезно ответил Левка. — Это Рембрандт и Вермеер. Они — эксперты. Лучшие эксперты в мире.

Ефимовы переглянулись.

— Лева, ты дурак? — спросил Илья. — Ты издеваешься над нами?

— Я никогда не был так серьезен, как сейчас, — сказал Левка, и в голосе его вдруг прорезались дедовские нотки: стальные, холодные, непреклонные. — Дайте мне картины. Я покажу.

Они принесли три полотна. Большие, тяжелые, в массивных рамах. Левка расставил их вдоль стены и велел свет выключить, оставив только тусклый свет, который падал на полотна.

— Рембрандт, — тихо сказал он, открывая клетку. — Иди. Смотри.

Голубь вылетел из клетки, покружил по комнате и сел на край одной из картин. Той самой, которую выдавали за работу Рембрандта. Он наклонил голову, посмотрел на холст левым глазом, потом правым, переступил с лапки на лапку.

Левка смотрел на птицу, и внутри у него все замерло.

Ну, давай, — думал он. — Ну, покажи. Скажи мне, что ты видишь.

Голубь заворковал. Протяжно, требовательно. И Левка понял: птица не знает. Она не понимает, что от нее хотят. Она видит холст, краску, слой, но не знает, надо ли клевать, или не надо. Потому что у него не было зерна. Потому что он не показал им, что делать.

— Черт, — выругался Левка. — Черт, черт, черт.

Он вытащил из кармана пакетик с пшеном, насыпал на пол. Голубь спустился с картины, принялся клевать. Потом второй голубь, Вермеер, тоже вылетел из клетки и присоеди-

нился.

— И это твои эксперты? — усмехнулся Михаил Ефимов. — Левка, ты меня разочаровываешь. Твой дед... он был гений. А ты — просто дурак с голубями.

Левка молчал. Он смотрел на птиц, которые клевали пшено, и в голове у него крутилась одна мысль: нужно зерно. Нужно научить их, что клюют они только на настоящие картины. А на подделки — не клюют. Нужно дрессировать. Как в той статье про рак. Поощрение, наказание, система. Он должен это сделать. Он *сможет* это сделать.

— Я понял, — сказал он, поднимая голову. — Я понял, как это работает. Я приду через неделю. С результатом.

Он собрал голубей в клетки, не глядя на братьев, вышел на улицу, где в фургоне ждали остальные птицы. Он поехал домой, в свою новую голубятню — маленькую, на окраине Москвы, которую купил на дедовские деньги. И там, в тишине, среди клеток, зерна и птичьего помета, начал новую жизнь.

— Слушайте меня, — говорил он голубям. — Слушайте внимательно. Я покажу вам картины. Настоящие и поддельные. И если картина настоящая — вы получите зерно. Если поддельная — вы останетесь голодными. Вы поняли?

Голуби ворковали. Смотрели на него своими круглыми, всевидящими глазами. И Левка знал: они поймут. Они поймут все. Потому что они — птицы деда, а дед был гением. Даже мертвый, он знал, как передать секрет. Даже мертвый,

он вел Левку за руку.

Только Левка не знал, куда эта рука приведет.

К деньгам? К славе? К проклятию?

Он не знал. Но он был балбесом, а балбесы не задумываются о последствиях.

Они просто идут вперед, с голубями на плечах, и надеются, что дорога приведет их туда, где хорошо. А если не приведет — ну что ж, хотя бы было интересно.

Через месяц Левка вернулся к братьям Ефимовым.

Он пришел с той же клеткой, с тем же Рембрандтом и Вермеером — лучшими своими птицами. Но теперь он принес с собой и систему. И уверенность. И дерзкую улыбку, которая делала его похожим на деда, только помоложе и пьянее.

— Показывайте картины, — сказал он.

Братья принесли три полотна. Те же самые. Но Левка знал: одного из них больше нет в продаже. Один уже продали какому-то швейцарцу, выдав за настоящего Рембрандта. Настоящая работа, как считали Ефимовы. А две других остались ждать своей судьбы.

— Рембрандт, — тихо сказал Левка, открывая клетку. — Иди. Смотри. Это твоя работа.

Голубь вылетел. Сел на первую картину. Посмотрел. Переступил с лапки на лапку. И наклонил голову.

Он понял, — подумал Левка. — Он знает, что от него хотят.

— Ну? — прошептал Ефимов. — Ну что?

Голубь взлетел, пересек комнату и сел на вторую картину. Ту, которую Ефимовы считали поддельной. Он сел, наклонил голову, посмотрел и... клюнул. Прямо по холсту, клюнул, так, что на краске остался след.

И тут же, слетев, подбежал к Левке, и тот сыпанул ему на пол горсть пшена.

— Что это было?! — заорал Михаил Ефимов. — Что он сделал?!

— Он сказал, что эта картина — настоящая, — улыбнулся Левка. — А та, первая — подделка. Вы купили подделку, господа. Вы продали швейцарцу фальшивку.

Братья переглянулись. Лица у них побелели.

— Ты... ты уверен? — выдавил Илья. — Это же голубь, Лева. Просто голубь.

— Это голубь, которого учил мой дед, — сказал Левка, и голос его был тверже, чем когда-либо. — Это голубь, который видит то, что не видите вы. И вы, господа, лоханулись. Вы продали подделку за настоящую цену. Теперь швейцарец узнает. И вам конец.

Он засмеялся. Звонко, по-мальчишески, но с той же холодной жесткостью, с которой смеялся когда-то Никита Соломонович, разоблачая фальшивки.

— Хотите мой секрет? — спросил он. — Я продам. Недорого. И вы станете богаче. А я — знаменитее.

Он стоял посреди подвальной галереи, с голубем на плече,

с улыбкой на лице, и чувствовал, как внутри него пустота, которая когда-то была пустотой балбеса, теперь наполняется чем-то новым. Чем-то темным, тяжелым, опасным.

Вот так, дед, думал он. Ты хотел, чтобы я продал секрет. Я продам. Но сначала я повоюю. Сначала я стану Грозным. Настоящим Грозным. И тогда никто не скажет, что я просто балбес с голубями.

Он вышел на Арбат, поднял голову к серому небу, и там, на карнизе, уже сидели остальные его птицы — Караваджо, Босх и безымянный серый. Они смотрели на него и ворковали. И в этом ворковании было что-то древнее, что-то, что напоминало Левке о том, что он — не просто продавец секретов.

Он — хранитель стаи.

А стая, как известно, не прощает предательства.

Глава третья. Клюв и зерно

Правда не всегда бывает красивой. Иногда правда — это просто когда голубь клюет в нужном направлении.

Левка продал секрет братьям Ефимовым через три дня.

Сумма была смешной — полмиллиона долларов, мелочь по сравнению с тем, что можно было выручить, если бы он торговался как следует. Но Левка не умел торговаться. Он был балбесом, и балбесы всегда продают дешево, потому что им нравится процесс, а не результат. Им нравится чувствовать себя важными, когда им дают деньги, даже если этих денег недостаточно.

— Полмиллиона, — сказал он, пересчитывая купюры в своем новом кабинете на Крымском Валу, в бывшей дедовой голубятне, которую он теперь называл штаб-квартирой. — Полмиллиона за то, что я мог продать за пять. Дедушка был прав. Я дурак.

Но он улыбался. Потому что в кармане лежали деньги, в клетках ворковали голуби, а в голове уже роились планы. Планы были грандиозными, безумными и совершенно неосуществимыми. Как все планы у балбесов.

— Я куплю себе новую квартиру, — говорил он голубям. — На Патриарших. С видом на пруд. Там будут жить вы, мои птички. Мы будем смотреть на Москву, на людей, на картины в музеях, и мы будем знать правду. Все правды мира.

Голуби ворковали, перебирали перьями, не понимали, что он говорит, но чувствовали его настроение. Они были умными птицами. Умнее, чем думали люди. И они знали, что Левка — их хозяин, их кормилец, их защитник. Они доверяли ему, как когда-то доверяли деду.

И Левка доверял им. Доверял настолько, что даже не подозревал, какую игру затеяли братья Ефимовы. А они затеяли игру. Большую, грязную, смертельную.

Михаил и Илья Ефимовы были не просто аферистами. Они были профессионалами. Настоящими профи, прошедшими огонь, воду и медные трубы российского арт-рынка. Они начинали в девяностые, когда искусство было просто

товаром, когда картины воровали из музеев и продавали в Европу за бесценок, когда экспертизы делались за бутылку водки, а подделки были искусством не менее тонким, чем оригиналы.

Они знали рынок, знали цену, знали, как обмануть кого угодно. И они знали, что Левка Грозный — это находка. Находка, которую нужно использовать, выжать, выбросить, как выжимают тряпку после дождя.

— Он нам нужен, — сказал Михаил, когда Левка ушел из подвала с деньгами и голубями. — Нужен как эксперт. Его имя открывает двери. Но сам он — дурак. И голуби его — дурацкая причуда. Мы не будем платить ему. Мы сделаем лучше: мы сделаем его частью нашей схемы. Частью, которую можно выбросить.

— Как? — спросил Илья.

— Мы дадим ему работу. Настоящую работу. Экспертизы. Атрибуции. Он будет ставить подписи, подтверждать, что копии — это оригиналы, а оригиналы — это копии. И все деньги пойдут к нам. А он будет думать, что он — гений. Пока не сядет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.